



ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

ЭЗА БОТО

Эза Бото — видный камерунский прозаик — известен во всей Африке и за ее пределами. Его произведения, рисующие суровую колониальную действительность, отражают формирование революционного сознания народов континента, вступивших на путь борьбы за полное и окончательное освобождение.



ПОВЕРНУВШИСЬ к племяннику, портной внимательно слушал, иногда перебивая юношу:

— Расскажи-ка, сынок, еще раз. Значит, женщины тебе помогали впятером?

— Впятером, — словно эхо вторил Банди.

— И вы, шестеро, несли двести кило

какао?

— Да, ровно двести, ни больше ни меньше...

— Это немало.

— Конечно немало...

— И какао у тебя отняли на контроле?

— Да. И сожгли.

— Вернее, сделали вид, что собираются сжечь...

— Не знаю, но они при мне швырнули его в костер.

— Только для виду...

— Может быть...

— Двести кило!

— Двести...

— И у тебя отняли совершенно все?

— До последнего зернышка...

— Ты... дрался с ними?

— Вернее, они со мной... Но их было четверо...

Глаз мне подбили...

— Эх, Банда, Банда! Вот беда-то! Потерять сразу двести кило какао!.. Слыханное ли это дело? Бедный мальчик! Где теперь возьмешь денег на женитьбу? Двести кило какао в огонь... Целое состояние! Целый год труда! И какая только сволочь придумала эту проклятую контрольную комиссию и этих негодяев контролеров!.. Да имей наши вожди хоть каплю мужества, они сразу бы выступили против контрольной комиссии... Но где там!.. Эти трусы не могут предстать перед белым, не наложив в штаны. Прямо не вожди, а — тьфу! Как же можно так жить дальше, сынок? Даже не знаешь, что с тобой будет завтра утром...

Портной снова склонился над швейной машинкой. Почти старик, он уже должен был просить других вдеть нитку в иголку. Нога портного толкнула педаль, и голова ритмично закачалась. Он все время пожимал плечами, словно всем своим существом выражал протест. Вдруг нога остановилась и сползла с педали. Повернувшись к племяннику, портной сказал:

— Знаешь, что о них говорят? Этим хапугам нужно совать взятки. Да, взятки... Вот чего они добиваются. Подмажешь — и твоё какао станет самым лучшим, его никто не бросит в огонь. Оно никогда уже не будет «недостаточно сухим» — а значит, тебе не придется целыми днями напролет жарить его на солнце. Нужно только подмазать контролера... Почему ты не попробовал, сынок? Ведь все так делают. Разве ты не знал?

— Все мое какао и так было хорошее, — упрямо процедил сквозь зубы Банда. — Мое какао — хорошее. И сухое-сухое, как осенняя трава. Неправда, что оно заплесневело внутри.

— Согласен. Твое какао было хорошее, даже великолепное. Так тем более следовало подмазать. Тебе же было просто необходимо продать какао! Пойми: раз ты не хочешь ничего дать, они стремятся взять сами. Послушай-ка, что я тебе еще скажу, сынок. Я уже не молод, и вот уже двадцать пять лет как я сижу на этой веранде и зазываю белых клиентов. Я вижу, как они приходят сюда и уходят. Чего только я о них не знаю! Словно прожорливая саранча, налетели они на нашу страну. Приезжают сюда тощими, как голодные псы, а уезжают раздувшимися от нашей крови и пота. Помнишь, когда ты был еще школьником и жил у меня, я частенько повторял: «Плохи наши дела, сынок! Страну нашу грабят, но она еще не сказала своего слова. Скоро, скоро она его скажет!» Так-то вот. А пока, если у тебя нет силы, учись хитрить, сынок. Контролеры, как и другие белые, творят все, что только им заблагорассудится. Ну как ты сможешь им помешать один? А? Люди и судье жаловались, да что толку?

Сходи-ка ты завтра на площадь, туда, где работали эти мародеры, — от той огромной кучи какао, что они сожгли вчера, ничего не осталось... А ты знаешь, как горят зерна какао? Медленно, очень медленно. Даже и следа никакого не осталось от того огня, на котором сгорело твоё и других несчастных добро. Куда же оно девалось, сынок? А? Я тебя спрашиваю! Разве это порядок? Знаешь, откуда все идет? Сверху, с самого верха... Все греют руки в Танга. Но до поры до времени приходится помалкивать...

Разговор прервался. Казалось, что глухой, монотонный металлический стрекот швейной машинки убаюкивал обоих.

— Сынок! — словно очнувшись, вдруг произнес портной. — А что произошло в полицейском участке? Это интересно. Очень интересно. Так просто

оттуда не выходят. Расскажи-ка еще раз, как все было.

— Примерно в полдень меня привели туда два региональных гвардейца, что подбили мне глаз... Заперли в маленькую каморку. В комиссариате никого из белых не оказалось: время было обеденное... Я присел на корточки, прислонился спиной к стене и уснул: ведь я страшно устал. Потом чувствую, кто-то наступил... кто-то ходит по моим ногам. Оказалось — гвардеец, которому взбрело в голову разбудить меня таким манером. Он повел меня к белому начальнику.

— К самому комиссару?

— Нет. Наверное, это был другой начальник. Комиссара-то я несколько раз видел в Бамиле. Долговязый такой. Так вот... Белый начал меня допрашивать...

— И ты так прямо ему и отвечал?

— Нет, я же плохо понимаю, когда быстро говорят по-французски. Там был переводчик. Но я хорошо разобрал, что сказал белый начальник под конец.

— Что же он сказал?

— «Ну и дерьмо! Ладно. Пока довольно с него и этого. Пусть катится к чертовой матери!»

Перед глазами у Банды был городской базар: большой навес посреди широкой площади. На крышах окружающих ее домов сверкало гофрированное железо. Было слышно, как оно трещит на солнце. День был субботний, и, хотя время подошло уже к трем часам, рынок еще кишел людьми. Юноша с интересом разглядывал горожанок в разноцветных ситцевых платьях — молодых и старых, рослых и маленьких, полных и худеньких — их было множество.

Иногда он задерживал взгляд на какой-нибудь крикливо одетой женщине — в красном, желтом, голубом или белом платье, обязательно шелковом, в соломенной шляпке и непременно в темных очках, с сумочкой в руке, в туфельках на высоких каблучках. «Еще одна колониальная подстилка», — думал юноша, и губы его кривило отвращение. Ему больше нравились женщины из джунглей: сильные, с крепкими руками и ногами. Их платья немудреного покроя были сшиты из материи темных цветов. Из толпы их выделяла свобода движений. Расторговавшись, с пустыми корзинами за спиной, они теперь могли удовлетворить свою чисто женскую страсть к покупкам. Оживленными роями кружили они по рыночным рядам, интересовались всеми товарами, все перепроверяли, приценивались ко всему, торговались, а в конечном счете — ничего не покупали. «Неужели среди стольких женщин не выбрать себе хорошую жену?» — думал Банда. Как хотел же он сейчас радоваться жизни вместе с этими женщинами! Хотел — и не мог. Но ведь у многих людей эти негодяи безжалостно отняли какао и бросили в огонь — не он один в таком тяжелом положении. Однако ему от этого не легче. Пожалуй, именно ему труднее всех: не у всех ведь матери стоят на краю могилы...

— Вечереет, Банда. Если хочешь вернуться в Бамилею...

— Нет, дядя, не сегодня.

— Почему?

— Мама... Не хочу, чтобы она плакала... Нет, сегодня я не пойду домой.

Юноша хотел как можно дальше отодвинуть тот момент, когда придется рассказать больной старой матери про обрушившееся на него несчастье. Мысль о ней, такой родной и близкой, не покидала Банду. Ослабевшая от тяжелой болезни, мать лежит на

бамбуковой циновке, бессильно откинув голову, вытянув худые ноги; ждет только смерти. Юноша боялся, что женщины, вернувшись вечером в Бамилею, расскажут ей обо всем, и она станет горько плакать. Все ее надежды на счастье сына рассеются и останется лишь боль, бесконечная, неутрачиваемая. Он почувствовал, как глаза наполняются слезами, и поднял было руку, чтобы смахнуть их, но сдержался: он не хотел, чтобы его видели плачущим: пусть лучше плачут контролеры и им подобные! Все те, кто старается роскошно жить за счет других...

— Ты бы, сынок, навестил свою тетку... Болит она.

— А что с ней?

— Да кто ее знает. Боли во всем теле. Наверное, возраст.

— А не ревматизм ли? Еще когда я жил у вас, тетя все жаловалась на боли в суставах. Ты бы, дядя, попытался устроить ее в диспансер...

— Но ведь ты же, сынок, знаешь, чем все это пахнет. Старо, как мир: если хочешь, чтобы люди что-нибудь сделали для тебя, — дай взятку. А у меня, скажу тебе откровенно, хоть я и проработал всю жизнь, нет денег, сынок... Старый я, не так хорошо управляюсь с работой, как раньше... Иди к тетке. А я закончу через часок и тоже приду...

Время текло лениво. Огромные, вздыбившиеся, свинцовые спереди, густо-синие у горизонта тучи медленно надвигались на гофрированные кровли города. Юноша встал и потянулся. Он чувствовал себя разбитым от всего пережитого. Очень кстати, что собирался хороший дождь.

Банда шел не спеша: дядя жил неподалеку, по ту сторону Моко — первого квартала Танга-Норд.

Пройдя два квартала, Банда увидел картину, от которой у него буквально перехватило дыхание: молодые люди в промасленных комбинезонах, громко крича, с перекошенными от гнева лицами волокли на своих плечах грузного белого. Они шли быстро, почти бежали: видно, им не терпелось расправиться с пленником. Странное шествие прошло так близко, что Банда смог разглядеть растерянную и перепуганную рожу толстопузого. Следом бежала туча оборванных, полуголых ребятишек всех возрастов, орала, улюлюкала, свистела, смеялась, пела и корчила рожи, выражая всем этим свое безмерное удовольствие. Потрясенный до глубины души необычным зрелищем, Банда тоже пошел за этими людьми, правда, держась в некотором отдалении от них.

Внезапно совсем рядом остановился с грохотом грузовик, и с него начали соскакивать рослые парни в форме цвета хаки. Юноша узнал в них региональных гвардейцев. Рабочие тут же швырнули свою ношу прямо на мостовую, и толстяк грузно шлепнулся, громко вскрикнув от боли и неожиданности. Поняв, что бежать бесполезно, молодые люди в промасленных комбинезонах инстинктивно сгруппировались плечом к плечу, собираясь дать гвардейцам отпор. Но, вопреки ожиданию, никакого столкновения не произошло. Гвардейцы кинулись к белому толстяку и с величайшим почтением бережно подняли его. Рабочим они кричали на местном диалекте: «Убирайтесь-ка отсюда! Уходите подобру-поздорову, пока не поздно. Ну, чего ждете?..» Рабочие не заставили себя долго уговаривать и кинулись к лесу, близко подступавшему здесь к городским окраинам.

Мальчишки, уверенные в своей безнаказанности, не двигались с места. Они решили во что бы то

ни стало увидеть, чем закончится такая захватывающая игра. Вскоре, осмелев, к ним присоединились и другие зеваки всех возрастов. Белый толстяк во время падения сильно ударился головой о камни и теперь обливался кровью. Он дрыгал ногами, рот его, словно кузнечный мех, то открывался, то закрывался, модный голубой костюм был весь в крови.

Среди окружавших белого гвардейцев загремел звонкий, как труба, голос, — говорил тот самый белый, который недавно допрашивал Банду. Тогда, в кабинете, он говорил очень быстро, и Банда почти ничего не понимал. Но сейчас он догадался, что начальник отчитывает своих подчиненных за то, что они упустили рабочих. Вот он повернулся и посмотрел в том направлении, в котором те скрылись. Некоторое время он задумчиво поглаживал свою черную бородку. Потом, должно быть, поняв, что погоня бесполезна, он нервно передернул плечами. Снова раздался его звучный голос, и на солдат щедро посыпались увесистые подзатыльники и пинки.

Среди зевак прокатился смех: кому-кому, но только не гвардейцам жаловаться на то, что их слегка поколотят. Банда тоже не без злорадства подумал, что на этот раз гвардейцы получают нечто вроде возмездия за свои многочисленные грехи. Ведь не часто случается видеть, чтобы солдаты из региональной гвардии, эти здоровенные верзилы, терпеливо сносили беспощадные оплеухи. И все же, продолжал размышлять юноша, несмотря ни на что, эти парни осмелились обвести своего начальника вокруг пальца, когда на своем диалекте прокричали рабочим, чтобы те поскорее уходили. Да, они его провели... И этот белый определенно ничего не понял, конечно же, не понял. Хорошо, что он не из миссионеров — миссионер бы все понял наверняка. Но начальник, наверное, уверен, что его гвардейцы кричали рабочим: «Сукины дети! Попадитесь нам только! Смотрите же!.. Если вы хоть раз сунете свои поганые хари сюда, то, ей-же-ей, мы вам их так отделаем, что и мать родная не узнает! Чучела поганые!.. Свора негодяев!..» И все же непонятно, почему гвардейцы так поступили. Обычно-то они не столь любезны... Может быть, потому, что знакомы с рабочими? Интересно было бы узнать...

Погруженный в эти размышления, Банда и не заметил, как оказался в Моко. Увиденная им необычная картина все еще стояла перед глазами: мужественные фигуры рабочих, несущих на своих мускулистых руках толстопузого белого, и ватага мальчишек вокруг них, региональные гвардейцы с сержантом во главе, которые кладут на машину обливающегося кровью и дрыгающего ногами стонущего толстяка...

Перевели с французского
Евгений Клузов
и Александр Козлов

ЖЕНЩИНА

НАЗРУЛ ИСЛАМ

Назрул Ислам — один из самых крупных индийских поэтов XX века. Он родился в 1899 году в восточной части Бенгалии в бедной мусульманской семье. Детство и юность поэта прошли в нищете. Он переменял множество профессий, с трудом закончил школу.

Назрул Ислам обогатил бенгальскую поэзию новыми открытиями в области художественной формы. С самого начала своей литературной деятельности он тесно связал себя с освободительным движением. Поэт воспеваеет революционный подъем, борьбу народа за освобождение от колониального и социального гнета; резко осуждает вражду индустов и мусульман, выступает против суеверий, предрассудков и фанатизма.

Небольшая поэма «Женщина» посвящена борьбе за равноправие женщин в индийском обществе, призывает их к активной, самостоятельной жизни.

Книга избранных произведений Назрула Ислама в переводе на русский язык будет выпущена в этом году Издательством иностранной литературы.

Я песню равенства пою — вам, женщины, и вам, мужчины.
Во всех делах земных вы две равновеликих половины.
Неравенства меж вами нет — вы связаны одной судьбой.
Все поровну разделено — грехи, печаль, рыдания, боль.
Кто, женщина, тебя назвал геенной, адовым огнем?
У первородного греха в плену не только ты одна.
Совместно совершен тот грех. И одинаковая в нем вина и женщин, и мужчин (коль в самом деле есть вина).
Ты, женщина, дала плодам, что украшают каждый сад,
их сладость и душистый сок, их чистоту и аромат.
Взгляни на белый Тадж-Махал¹, на этот вековечный храм:
ты, женщина, — вся суть его, и только форма — Шах-Джехан.
Ты лакшми² мудрости людской, богиня урожая ты,
ты вечных песен божество, ты лакшми вечной красоты.

Мужчина — день. Палящий зной дневных лучей — его рука.
Ты, женщина, — ночная тень, прохлады влажной облака.
День — это сила и порыв, ночь — это нежность брачных уз.
Мужчина жаждет. Напои его хмельной прохладой уст.
Мужчина в поле плуг ведет. Он пахарь. Так заведено.
А женщина — таков закон — бросает в борозду зерно.
Мужчиной вспахана земля, а женщина ей даст воды.
Земля проснется, и на ней созреют злаки и плоды.
О женщина! Слова разлук и встреч с тобой живут во мне —
из слов рождаются стихи, из звуков песни родились.
Ты — исцеляющий нектар, я — жажда, я горю в огне.
Нектар и жажда навсегда в дитя единое слились.

¹ Тадж-Махал — мавзолей в городе Агре, построенный императором династии Великих Моголов Шах-Джеханом (1627—1658) в честь любимой жены.

² Лакшми — богиня, олицетворение преданной и добродетельной жены.